

[Polaris]

М. Лермонтов
И. Лукаш



ШТОСС

Повесть с продолжением

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССХ



Salamandra P.V.V.

**М. ЛЕРМОНТОВ
И. ЛУКАШ**

ШТОСС

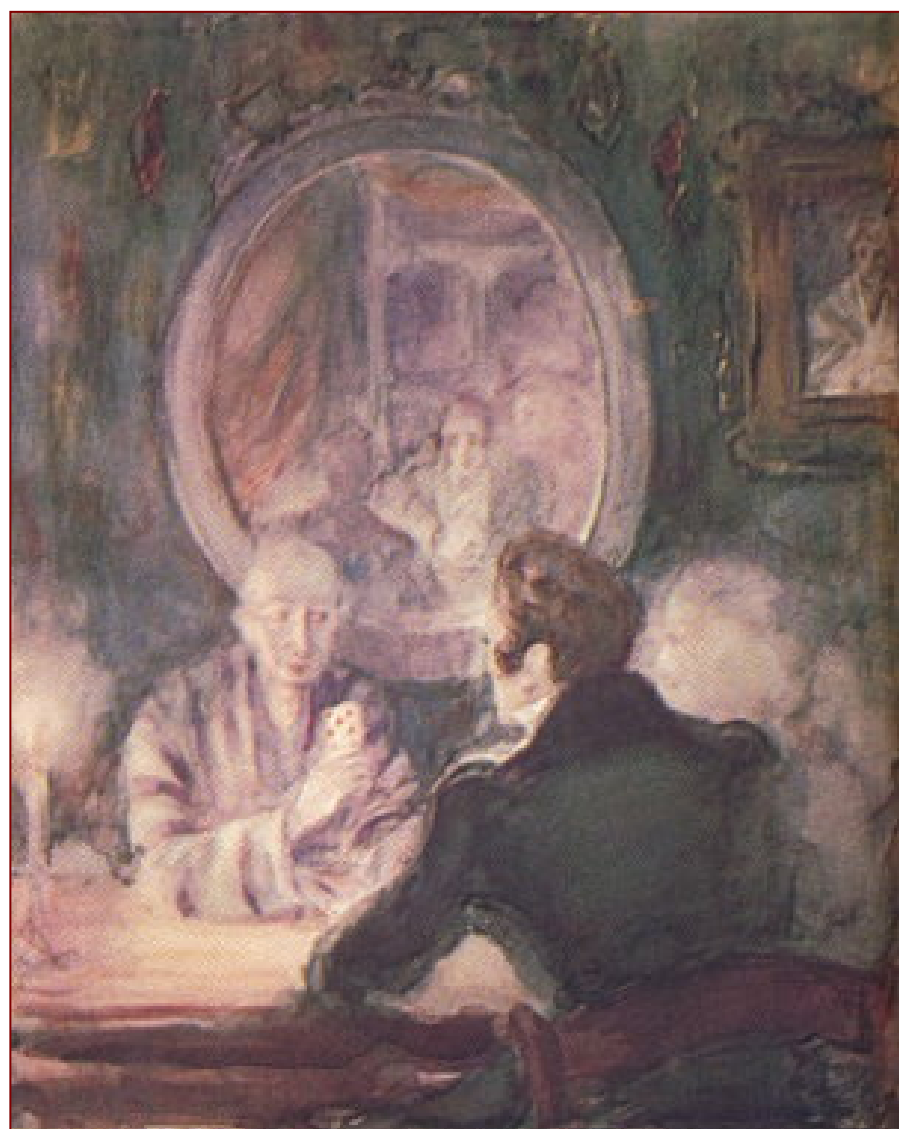
Повесть с продолжением

Salamandra P.V.V.

Лермонтов М. Ю., Лукаш И. С.

Штосс: Повесть с продолжением. Прим. А. Шермана. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 52 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССХ).

В книгу вошла незавершенная фантастическая повесть М. Ю. Лермонтова «Штосс» и ее окончание, написанное в 1932 г. И. С. Лукашем – писателем, высоко ценимым в эмиграции и недооцененным на родине. Лаконичная «романтическая повесть» Лукаша одновременно анализирует лермонтовский сюжет и разрабатывает один из основных мотивов русского романтизма в целом – образ «падшей» и плененной Софии.



М. Лермонтов

ШТОСС

У граф. В.... был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема; в числе гостей мелькало несколько литераторов и ученых; две или три модные красавицы; несколько барышень и старушек и один гвардейский офицер. Около десятка доморощенных львов красовалось в дверях второй гостиной и у камина; все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело.

— В ту самую минуту как новоприезжая певица подходила к роялю и развертывала ноты..... одна молодая женщина зевнула, встала и вышла в соседнюю комнату, на это время опустевшую. На ней было черное платье, кажется по случаю придворного траура. На плече, пришпиленный к голубому банту, сверкал бриллиантовый вензель; она была среднего роста, стройна, медленна и ленива в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли ее еще молодое правильное, но бледное лицо, и на этом лице сияла печать мысли. —

— Здравствуйте, мсье Лугин, — сказала Минская кому-то; я устала..... скажите что-нибудь! — и она опустилась в широкое пате возле камина: тот, к кому она обращалась, сел против нее и ничего не отвечал. В комнате их было только двое, и холодное молчание Лугина показывало ясно, что он не принадлежал к числу ее обожателей.

— Скучно, — сказала Минская и снова зевнула; — вы видите, я с вами не церемонюсь! — прибавила она.

— И у меня сплин! — ... отвечал Лугин.

— Вам опять хочется в Италию? — сказала она после некоторого молчания. — Не правда ли?

Лугин в свою очередь не слышал вопроса; он продолжал, положив ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на беломраморные плечи своей собеседницы: — Вообразите, какое со мной несчастье: что может быть хуже для человека, который, как я, посвятил себя живописи! — вот уж две недели, как все люди мне кажутся желтыми, — и одни только

люди! добро бы все предметы; тогда была бы гармония в общем колорите; я бы думал, что гуляю в галерее испанской школы. — Так нет! все остальное как и прежде; одни лица изменились; мне иногда кажется, что у людей вместо голов лимоны.

Минская улыбнулась. — Призовите доктора, — сказала она.

— Доктора не помогут — это сплин!

— Влюбитесь! — (Во взгляде, который сопровождал это слово, выражалось что-то похожее на следующее: «мне бы хотелось его немножко помучить!»)

— В кого?

— Хоть в меня!

— Нет! вам даже кокетничать со мною было бы скучно — и потом, скажу вам откровенно, ни одна женщина не может меня любить.

— А эта, как бишь ее, итальянская графиня, которая последовала за вами из Неаполя в Милан?...

— Вот видите, — отвечал задумчиво Лугин, — я сужу других по себе и в этом отношении, уверен, не ошибаюсь. Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти — но так как я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью; — я себя спрашивал, могу ли я влюбиться в дурную? — вышло нет; — я дурен — и следственно женщина меня любить не может, это ясно; артистическое чувство развито в женщинах сильнее, чем в нас, они чаще и долее нас покорны первому впечатлению; если я умел подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв — но так как я знал поддельность чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви; к моей страсти примешивалось всегда немного злости; — все это грустно — а правда!.....

— Какой вздор! — сказала Минская, — но, окинув его быстрым взглядом, она невольно с ним согласилась.

Наружность Лугина была в самой деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы во всем его существе не встретили ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе; он был неловко и грубо сложен; говорил резко и отрывисто; большие и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга, делали его на вид старее, чем он был в самом деле; он три года лечился в Италии от ипохондрии, — и хотя не вылечился, но по крайней мере нашел средство развлекаться с пользой; он пристрастился к живописи; природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. — В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство: на них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников.

Лугин уже два месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. — Он бывал часто у Минской: ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но о любви между ними не было и в помине.

Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гете: Лесной царь. Когда она кончила, Лугин встал.

— Куда вы? — спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Он опять сел.

— Знаете ли, — сказал он с какою-то важностью, — что я начинаю сходить с ума?

— Право?

— Кроме шуток. — Вам это можно сказать, вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера — и как вы думаете что? — адрес: — вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27. — И так шибко, шибко, — точно торопится..... Несносно!..

Он побледнел. Но Минская этого не заметила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорит? — спросила она рассеянно.

— Нет. Но голос звонкий, резкий дишкант.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? я не могу сказать наверное... не знаю... ведь это право презабавно! — сказал он, принужденно улыбаясь.

— У вас кровь приливает к голове, и в ушах звенит.

— Нет, нет. — Научите, как мне избавиться?

— Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумав с минуту, — идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как, верно, в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, — то для приличия закажите ему работу, и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что..... вы в самом деле нездоровы!.. — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием.

— Вы правы, — отвечал угрюмо Лугин, — я непременно пойду. —

Он встал, взял шляпу и вышел.

Она посмотрела ему вослед с удивлением.

2

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман прида-

вал отдаленным предметам какой-то серолиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, — да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни худой ни толстый, не стройный, но с широкими плечами, в пальто, и вообще одетый со вкусом; жалко было видеть его лакированные сапоги, вымоченные снегом и грязью; но он, казалось, об этом ни мало не заботился; засунув руки в карманы, повесив голову, он шел неровными шагами, как будто боялся достигнуть цель своего путешествия, или не имел ее вовсе. — На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся. То был Лугин. Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице; в глазах горело тайное беспокойство.

— Где Столярный переулочек? — спросил он нерешительным голосом у порожнего извозчика, который в эту минуту проезжал мимо его шагом, закрывшись по шею мохнатой полостью и насвистывая камаринскую.

Извозчик посмотрел на него, хлыснул лошадь кончиком кнута и проехал мимо.

Ему это показалось странно. Уж полно, есть ли Столярный переулочек? Он сошел с моста и обратился с тем же вопросом к мальчику, который бежал с полуштофом через улицу.

— Столярный? — сказал мальчик, — а вот идите прямо по Малой Мещанской, и тотчас направо, — первый переулочек и будет Столярный.

Лугин успокоился. Дойдя до угла, он повернул направо и увидел небольшой грязный переулочек, в котором с каждой стороны было не больше 10 высоких домов. Он постучал в дверь первой мелочной лавочки и, вызвав лавочника, спросил: «где дом Штосса?»

— Штосса? — Не знаю, барин, здесь эдаких нет; а вот здесь рядом есть дом купца Блинникова, — а подальше..

— Да мне надо Штосса...

— Ну не знаю,— Штосса!! — сказал лавочник, почесав затылок, — и потом прибавил: — нет, не слышать-с!

Лугин пошел сам смотреть надписи; что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал. Так он добрался почти до конца переуллка, и ни одна надпись ничем не поразила его воображения, как вдруг он кинул случайно глаза на противоположную сторону улицы, и увидел над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи.

Он подбежал к этим воротам — и сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего даже на следы стертой временем надписи; доска была совершенно новая.

Под воротами дворник в долгополом полинявшем кафтане с седой, давно небритой бородою, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй! дворник, — закричал Лугин. —

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан! — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был. —

— Чей? — Кифейкина, купца. —

— Не может быть, верно Штосса, — вскрикнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина — а теперь так Штосса! — отвечал дворник, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Должен ли он был продолжать свои исследования? не лучше ли во-время остановиться? Кому не случалось находиться в таком положении, тот с трудом поймет его: любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться — хотя видим нас ожидающую бездну.

Лугин долго стоял перед воротами. Наконец обратился к дворнику с вопросом.

— Новый хозяин здесь живет?

— Нет.

— А где же?

— А черт его знает.

— Ты уж давно здесь дворником?

— Давно.

— А есть в этом доме жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста,— сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику целковый, — кто живет в двадцать седьмом номере?

Дворник поставил метлу к воротам, взял целковый и пристально посмотрел на Лугина.

— В двадцать седьмом номере?.... да кому там жить! он уж бог знает сколько лет пустой.

— Разве его не нанимали?

— Как не нанимать, сударь,— нанимали.

— Как же ты говоришь, что в нем не живут!

— А бог их знает! Так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.

— Ну, а кто его последний нанимал?

— Полковник, из анженеров, что ли!

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было..... а тут, говорят, его послали в Вятку — так номер пустой за ним и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанял какой-то барон, из немцев, — да этот и не переезжал; слышно, умер.

— А прежде барона?

— Нанимал купец для какой-то своей..... гм! да обанкрутился, так у нас и задаток остался.....

«Странно!» — подумал Лугин.

— А можно посмотреть номер?

Дворник опять пристально взглянул на него.

— Как нельзя? можно! — отвечал он и пошел, переваливаясь, за ключами.

Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда по золоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамками рококо; вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность.

Они, не зная почему, понравились Лугину.

— Я беру эту квартиру, — сказал он. — Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько паутины! да надо хорошенько вытопить...— В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами, большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, — платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случилось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно брошенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший, — и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не произведет этих линий; математически малое

отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру!» — подумал Лугин.

Он сел в кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что ж, барин? — проговорил он наконец.

— А!

— Как же? — коли берете, так пожалуйста задаток.

Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера; в 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин.

«Вздор, чтоб на этой квартире нельзя было жить», думал Лугин. «Моим предшественникам видно не суждено было в нее перебраться — это конечно странно! — Но я взял свои меры; переехал тотчас! — Что ж? — ничего! —»

До двенадцати часов он с своим старым камердинером Никитой расставлял вещи....

Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем чтоб лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами: *Середа*. —

— Какой нынче день, — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь....

— Послезавтра среда! — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с!...

Бог знает почему Лугин на него рассердился.

— Пошел вон! — закричал он, топнув ногою.

Старый Никита покачал головою и вышел.

После этого Лугин лег в постель и заснул.

На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.

В числе недоконченных картин, большею частию маленьких, была одна размера довольно значительного; посреди холста, исчерченного углем, мелом и загрунтованного зелено-коричневой краской, эскиз женской головки остановил бы внимание знатока; но несмотря на прелесть рисунка и на живопись колорита она поражала неприятно чем-то неопределенным в выражении глаз и улыбки; видно было, что Лугин перерисовывал ее в других видах, и не мог остаться довольным, потому что в разных углах холста являлась та же головка, замаранная коричневой краской. То не был портрет; может быть, подобно молодым поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой идеал женщину-ангела; причуда понятная в первой юности, но редкая в человеке, который сколько-нибудь испытал жизнь. Однако есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могли бы его проведать, а сам себя он ежедневно обманывал с простодушием ребенка. С некоторого времени его преследовала постоянная идея, мучительная и несносная, тем более, что от нее страдало его самолюбие: он был далеко не красавец, это правда, однако в нем ничего не было отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили даже выражение лица его довольно приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразия исключает возможность любви, и стал смотреть на женщин как на природных своих врагов, подозревая в их случайных ласках побуждения посторонние — и объясняя грубым и положительным образом самую явную их благосклонность.

Не стану рассматривать, до какой степени он был прав, но дело в том, что подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу, любовь самую невинную и вместе самую вредную для человека, с воображением.

В тот день, который был вторник, ничего особенного с Лугиным не случилось: он до вечера просидел дома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его; хотел рисовать — кисти выпали из рук; пробовал читать — взоры его скользили над строками и читали совсем не то, что было написано; его бросало в жар и в холод; голова болела; звенело в ушах. Когда смерклось, он не велел подавать свеч и сел у окна, которое выходило на двор; на дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна; — он долго сидел; вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал — ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться.... он бросился на постель и заплакал; ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, и он с ужасом заметил и признался, что он недостойн был любви безотчетной и истинной, и ему стало так больно! так тяжело!

Около полуночи он успокоился, сел к столу, зажег свечу, взял лист бумаги и стал что-то чертить; — все было тихо вокруг. Свеча горела ярко и спокойно; он рисовал голову старика, — и когда кончил, то его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым! — Он поднял глаза на портрет, висевший против него, — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, закрипела; глаза его не могли оторваться от двери.

— Кто там? — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто хлопали туфли; известка посыпалась с печи на пол.

— Кто это? — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; —

дверь отворялась сама; в той комнате было темно, как в погребу.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сторбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было неподвижно, губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрели прямо без цели.

И вот он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

— Что вам надобно? — сказал Лугин с храбростью отчаяния. Его кулаки судорожно сжимались, и он был готов пустить скандалом в незваного гостя.

Под халатом вздохнуло.

— Это несносно! — сказал Лугин задышающим голосом. Его мысли мешались. —

Старичок зашевелился на стуле; вся его фигура изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался; наконец принял прежний вид.

«Хорошо, — подумал Лугин, — если это привидение, то я ему не поддамся». —

— Не угодно ли, я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и отвечал насмешливым тоном: «а на что же мы будем играть? — я вас предваряю, что душу свою на карту не поставлю! — (Он думал этим озадачить привидение...) А если хотите, — продолжал он, — я поставлю клонгер; не думаю, чтоб водились в вашем воздушном банке».

Старичка эта шутка нимало не сконфузила.

— У меня в банке вот это! — отвечал он, протянув руку; — «Это? — сказал Лугин, испугавшись и кинув глаза налево, — что это?» Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите! — потом сказал он, оправившись, и, вынув из кармана клонгер, положил его на карту. — Идет, темная». — Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин

поставил семерку бубен, и она с оника была убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью! — сказал с досадою Лугин.

Оно покачало головою.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А! в середу! — вскрикнул в бешенстве Лугин; — так нет же! не хочу в середу! завтра или никогда! слышишь ли? —

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая. Дверь опять тихо за ним затворилась; в соседней комнате опять захлопали туфли.... и мало-по-малу все утихло. У Лугина кровь стучала в голове молотком; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что он проиграл!....

«Однако ж я не поддался ему! — говорил он, стараясь себя утешить, — переупрямял. В середу! как бы не так! что я за сумасшедший! Это хорошо, очень хорошо!.. он у меня не отделается».

— А как похож на этот портрет!... ужасно, ужасно похож! — а! теперь я понимаю!....

На этом слове он заснул в креслах. — На другой день утру никому о случившемся не говорил, просидел целый день дома и с лихорадочным нетерпением дожидался вечера.

«Однако я не посмотрел хорошенько на то, что у него в банке! — думал он, — верно что-нибудь необыкновенное!» Когда наступила полночь, он встал со своих кресел, вышел в соседнюю комнату, запер на ключ дверь, ведущую в переднюю, и возвратился на свое место; он недолго дожидался; опять раздался шорох, хлопанье туфель, кашель старика, и в дверях показалась его мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, повидимому не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах

блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимперIALа, как вдруг он опомнился.

— Позвольте,— сказал он, накрыв рукою свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что бишь я хотел сказать! — позвольте, — да!

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо.... я с вами буду играть, я принимаю вызов, — я не боюсь — только с условием: я должен знать, с кем играю! как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю,— проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штос? кто? — У Лугина руки опустились: он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновенье. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновенье обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты: но этого минутного взгляда было бы довольно, чтоб заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая..... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак.... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении

пламенных грез стоим на коленях, и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось, но с этой минуты он решился играть — пока не выиграет: эта цель сделалась целью его жизни, — он был этому очень рад. —

Старичок стал метать: карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне. —

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась: всякую ночь Лугин проигрывал, но ему не было жаль денег, он был уверен, что наконец хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши; он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку — за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свиданья, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой; *она* — не знаю, как назвать ее? — она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика; и всякий раз, когда карта Лугина была убита, она с грустным взором оборачивала к нему эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоею, во что бы то ни стало! я тебя люблю»... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. — И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце — отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтоб поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился. —

И. Лукаш

ШТОСС

Романтическая повесть

Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями.

В такое утро через Кокушкин мост шел человек средних лет, одетый со вкусом.

Это был Лугин, уже два месяца как вернувшийся в Петербург из Италии, где он лечился от ипохондрии и где пристрастился я к живописи.

Лугин имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы. Лермонтов впервые и застал его на музыкальном вечере у одного графа, после того как Лугин уже две недели проскучал в сыром Петербурге, жалуясь на сплин. Все люди казались ему желтыми, почти как в галерее испанской школы. Наконец, на вечере у графа он удивил внезапным признанием одну свою приятельницу, которая была там в черном платье с бриллиантовым вензелем на голубом банте, по случаю придворного траура.

— Знаете ли, — сказал ей Лугин с важностью, — что я начинаю сходить с ума.

— Право?

— Кроме шуток. Вам это можно сказать. Вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера и, — как вы думаете, что? Адрес. Вот и теперь слышу: в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27, — и так шибко, шибко, — точно торопится... Несносно.

В то ноябрьское утро, вымочивши в грязи и снеге свои тонкие сапоги, Лугин и бродил по Столярному переулку, куда привел его странный голос.

Что-то говорило Лугину, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видел. Так он добрался до конца переулка, когда вдруг заметил над одними воротами жестяную доску вовсе без надписи. Под воротами дворник, в долгополом, полинявшем кафтане, седой, с давно небритой бо-

родой, без шапки и подпоясанный грязным фартуком, разметал снег.

— Эй, дворник, — закричал Лугин.

Дворник что-то проворчал сквозь зубы.

— Чей это дом?

— Продан, — отвечал грубо дворник.

— Да чей он был?

— Чей? Кифейкина купца.

— Не может быть. Верно, Штосса, — воскликнул невольно Лугин.

— Нет, был Кифейкина, а теперь так Штосса, — отвечал дворник, не поднимая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, как будто предчувствуя несчастье. Отыскавши дом, таинственно указанный ему, он испытал чувство падения в пропасть, когда мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Из расспросов сумрачного дворника, которому был сунут целковый, Лугин узнал, что новый хозяин Штосс в доме как будто не живет, а живет «черт его знает где», и что квартира № 27 уже несколько лет как стоит пустой.

Последним жильцом там был «полковник из анжине-ров», как сказал дворник.

— Отчего же он не жил?

— Да переехал было... А тут, говорят, его послали в Вятку, — так номер пустой за ним и остался.

Дворник сказал ему и о других жильцах этой квартиры: один умер, другой разорился.

«Странно», — подумал Лугин.

Он пожелал посмотреть квартиру номер 27 и дворник повел его во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке и дверь отворилась; им в лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла из четырех комнат и кухни. Старая, пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были, на зеленом грунте, красные попугаи и золотые лиры; изразцовые печи кое-где порастрескались; сосновый

пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно; в простенках висели овальные зеркала с рамами рококо; вообще, комнаты имели какую-то странную, несовременную наружность.

— Я беру эту квартиру, — сказал Лугин и заметил в эту минуту на стене поясной портрет, изображавший человека лет сорока в бухарском халате, с правильными чертами и большими серыми глазами; в правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины; на пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью; платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано, зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать.

«Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, когда сказал, что беру квартиру», — подумал Лугин.

Он сел в кресло, опустил голову на руки, забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.

— Что же, барин, — проговорил он наконец.

— А?

— Как же? Коли берете, так пожалуйста задаток.

Лугин задаток дал и в тот же день перебрался из гостиницы, где жил до того, на новую квартиру.

До двенадцати часов он, со своим старым камердинером Никитой, расставлял вещи. Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет.

Перед тем, чтобы лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько и прочитал внизу, вместо имени живописца, красными буквами: «Среда».

— Какой нынче день? — спросил он Никиту.

— Понедельник, сударь.

— Послезавтра среда, — сказал рассеянно Лугин.

— Точно так-с.

Бог знает почему, Лугин на него рассердился.

— Пошел вон, — закричал он, топнув ногой.

Старый Никита покачал головой и вышел.

II

В числе недоконченных картин, большей частью маленьких, перевезенных Луговым в Столярный переулок из гостиницы, был этюд женской головы, который появлялся в разных углах холста, хотя и замазанный коричневой краской.

Лермонтов придает этому эскизу особое значение, предполагая, что Лугин, может быть, старался осуществить в нем свой идеал женщины, женщины-ангела.

Любопытно, что всеми своими странностями, так же, как душевным складом и даже внешностью, Лугин был похож на самого Лермонтова.

Во всем его существе вы бы не встретили ни одного из тех условий, который делают человека приятным в обществе. В странном выражении его глаз было много огня и остроумия, но он был неловко и грубо сложен, говорил резко, отрывисто: он был далеко не красив, с большими редкими волосами и неровным цветом лица.

Наружность Лугина в самом деле была так же непривлекательна, как и наружность Лермонтова. Они оба были дурны собою и, вероятно, именно это и создало у них с юности глубокое и застенчивое недоверие к женщине, вместе с наивно-горькой мыслью, что их «любить не могут».

А все же, по-настоящему, жизнь Лугина только в том и заключалась, чтобы отыскать истинную любовь, хотя степень его безобразия исключала, по его мнению, возможность такой любви и он уже стал смотреть на женщин, как на природных своих врагов, подозревая в их случайных ласках возбуждения посторонние.

Но он всегда искал ту неведомую и ненаходимую, которая совершеннее и прекраснее всего на свете, совершеннее самого естества, — ту, голову которой он и набрасывал во всех углах холста, скрывая ее потом под коричневой краской. Лугин, как и многие другие стареющие холостяки, одинокие мужчины и женщины, страшился любви и всегда жил мыслью о ней.

Случалось, что женщины его обманывали. Тогда его застенчивое недоверие сменялось злобой оскорбленного человека.

Лугин был истинным художником и обладал прекрасным талантом, но как и у Лермонтова, какое-то неясное, темное и тяжелое чувство дышало во всех его работах.

В этом — тяжелом — сказывался недуг постоянный и тайный, снедавший одинаково и того и другого. Они оба чувствовали себя пасынками, обойденными естеством, и обойденными в самом главном — в бессмысленной телесной красоте и в бесхитростном здоровье.

Они оба не были удовлетворены или были обижены естеством, и это тайной горечью всегда отравляло все их чувства, до иступления.

III

Во вторник, во второй день после переезда в № 27, с Лугиным ничего особенного не случилось: он до вечера продома, хотя ему нужно было куда-то ехать. Непостижимая лень овладела всеми чувствами его. Голова болела, звенело в ушах.

Когда смерклось, он не велел подавать свечей и сел у окна, которое выходило во двор.

Во дворе было темно; у бедных соседей тускло светились окна. Он долго сидел; вдруг во дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс.

Небывалое беспокойство овладело Лугиным. Он бросился на постель и заплакал: ему представилось все его прошлое.

А около полуночи того же дня внезапно изменилось само существование Лугина, оно стало совершенно странным и совершенно необычайным.

Около полуночи он начал рисовать при свече голову старика, и когда кончил, его поразило сходство этой головы с кем-то знакомым. Он поднял глаза на портрет, висев-

ший против — сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся: ему показалось, что дверь, ведущая в пустую гостиную, закрипела; глаза его не могли оторваться от двери. — «Кто там?» — вскрикнул он.

За дверьми послышался шорох, как будто шлепали туфли; известка посыпалась с печи на пол. «Кто это?» — повторил он слабым голосом.

В эту минуту обе половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыхание повеяло в комнату; дверь отворилась сама; в той комнате было темно, как в погребе.

Когда дверь отворилась настежь, в ней показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой, сгорбленный старичок; он медленно подвигался, приседая; лицо его, бледное и длинное, было недвижно, губы сжаты; серые, мутные глаза, обведенные красной каймой, смотрели прямо, без цели. И вот он сел у стола, против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против Лугина, другую перед собой и улыбнулся.

Мысли Лугина смешались, но все же он подумал: «Если это привидение, я ему не поддамся».

— Не угодно ли? Я вам промечу штосс? — сказал старичок.

Лугин взял перед ним лежавшую колоду карт и ответил насмешливым тоном:

— А на что же мы будем играть? Я вас предваряю, что душу свою на карты не поставлю! (Он думал этим озадачить привидение).

— У меня в банке вот это! — отвечал старик и протянул руку.

— Это? — сказал Лугин, испугавшись. Он кинул глаза налево. — Что это?

Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное.

— Мечите! — сказал Лугин, оправившись. — Идет, темная.

Так началась их странная ночная игра.

Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен, и она с оника была

убита; старичок протянул руку и взял золотой.

— Еще талью, — сказал с досадою Лугин.

Старик покачал головой.

— Что же это значит?

— В середу, — сказал старичок.

— А, в середу? — вскрикнул в бешенстве Лугин. — Так нет же, не хочу в середу. Завтра или никогда, слышишь ли?

Глаза странного гостя пронзительно засверкали, и он опять беспокойно зашевелился.

— Хорошо, — наконец, сказал он, встал, поклонился и вышел, приседая.

IV

Во вторую полночь опять раздался шорох туфлей, кашель старика и в дверях показалась его мертвая фигура.

За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы.

Старичок сел, как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления; в его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем.

Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг опомнился.

— Позвольте... — сказал он, покрывая рукой свою колоду.

Старичок сидел неподвижен.

— Что, бишь, я хотел сказать?... Позвольте... Да!...

Лугин запутался.

Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил:

— Хорошо... Я с вами буду играть... Я принимаю вызов... Я не боюсь... Только с условием: я должен знать, с кем играю. Как ваша фамилия?

Старичок улыбнулся.

— Я иначе не играю, — проговорил Лугин; а меж тем, дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.

— Что-с? — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.

— Штосс? — это... — у Лугина руки опустились. Он испугался.

В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее дыхание, и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое, огненное прикосновение. Станный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам: он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты; но этого минутного взгляда было бы довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное видение: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли; в ее глазах была тоска невыразимая; она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного; никогда смерть не уносила из мира ничего, столь полного пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства.

Божественным созданием молодой души было это видение, когда душа, в избытке сил, творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована.

Тогда Лугин решился играть, пока не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни.

Старичок стал метать; карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимперIALа.

— Завтра, — сказал Лугин.

Старичок вздохнул тяжело, кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне.

Всякую ночь в продолжение месяца эта сцена повторялась.

Всякую ночь Лугин проигрывал, но ему не было жаль денег: он был уверен, что, наконец, хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши. Он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и

улыбку, за которые он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете; часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свидания, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой.

Всякий раз, когда карта Лугина была убита, видение оборачивалось к нему. Ее глубокие глаза, казалось, говорили: «Смелее, не падай духом, подожди: я буду твоею, во что бы то ни стало, я тебя люблю», — и жестокая, молчаливая печаль покрывала свою тенью ее изменчивые черты.

И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтобы поддерживать игру; он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо будет на что-нибудь решиться. Он решился....

На — «он решился» — и оборваны все эти записки Лермонтова о Лугине, помеченные 1841 годом.

V

Он решился прорвать тенета наваждения, когда стоял утром у зеркала с намыленной щекой. Он посмотрел на свое желтое лицо с потускневшими беспокойными глазами, которые ему показались глазами чужого существа. В нечистом ватошном халате поверх нижнего белья и в туфлях на босу ногу, он был похож на сидельца сумасшедшего дома.

Нечто необъяснимо-ужасное пересекло его жизнь, захватило его и, если не прорваться ему сквозь наваждение, он неминуемо погибнет.

Ради одного неясного видения, едва светившегося перед ним, каждую ночь все безнадежнее и безвыходнее проигрывает он самого себя, но если бы тысяча жизней и тысяча душ были у него, он так же отдал бы их все за одно чувствование ее полувоплощенного дыхания, за ее полуосуществленные движения, ради того, чтобы сверхъестественное

божественное создание стало жить естественным существом, пусть сам он погибнет.

— Смелей, не упадай духом, я тебя люблю, — повторял Лугин сам себе ее воображаемые слова и слеза бежала по его небритой намыленной щеке.

Ради нее он ничего не может решить, выхода нет. Ему стало жаль себя горькой жалостью и захотелось ему услышать голоса людей, может быть, слова утешения.

Запахнувшись в халат, он пошел по комнатам.

— Никита, — позвал он. Гулкий голос показался ему жалующимся и чужим.

Никто не отвечал. Была не смята постель в каморке старого слуги. На столе стоял шандал с нетронутой свечой. Бархатного картуза Никиты с кожаным козырьком и его зимнего сюртука не было на крюке. Лугин вспомнил в каморке, как в припадке непонятного раздражения сам прогнал от себя Никиту. Огорченный старый камердинер, что и раньше случалось при их ссорах, ушел, как видно, в самовольную отлучку.

Лугин вернулся в спальню. Совершенно один в запертой пыльной квартире, он уже потерял чувство времени: месяц ли прошел с того дня, как он поселился в № 27, или несколько дней, выходил он или нет, что он делал, продавал ли вещи, обедал ли, спал ли, сменялась ли ночь дневным светом? Он не знает, и живет он только тогда, когда возникает перед ним двойное ночное видение, — сторбленный, приседающий старичок в полосатом сером халате — холодное видение тьмы, — и другое, — сноп сияющего света, за которое он отдаст жизнь и душу. Он сходит с ума.

— Я схожу с ума, я сумасшедший, сумасшедший.

И Лугина охватил такой страх, что ему захотелось метаться, иступленно звать на помощь, но он только сжал со всей силой кулаки и посмотрел на себя в зеркало, тонко и сомнительно усмехаясь.

Нарочно театральным движением оправил он волосы тощей и нежной рукой и отошел от зеркала тихо.

Он точно играл с тем, другим, трясущимся от страха сумасшедшим с желтым лицом, выглянувшим на него из зер-

кальной тьмы.

— Нет-с, нет-с, господин Лугин. — шептал он. — Вы не крикнете, не позовете на помощь... Или вас схватят, свяжут, будут бить... Смирительная рубашка, желтый дом, навеки... О, нет-с!

С той же тонкой, лукаво-безумной улыбкой Лугин вышел из спальни.

Он стал метаться по комнатам, совершенно бесшумно, мягкими кругами, как ходит, например, в клетке черная пума. Он оправил постель, одернул портьеры на окнах, начал одеваться. В его движениях было нечто воровское, словно он боялся, что застигнут его на каком-то преступлении.

В черном сюртуке, который он надел, тщательно выбритый и совершенно бледный, он стал торжественным и страшным.

Он стер с лезвия мыло, несколько раз дохнувши на него для блеска, сложил бритву и сунул черенок в карман.

В эту минуту он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он содрогнулся, поджался. Весь напряженный, он покосился назад.

Человек лет сорока, в бухарском халате, с правильными чертами лица и большими серыми глазами, смотрел на него с того поясного портрета, который его поразил еще в первый день.

VI

Стоя на кожаном кресле, подвинутом к портрету, Лугин рассматривал и эту дурно написанную золотую табакерку необыкновенной величины и множество разных, вероятно, фальшивых перстней на пальцах неизвестного. Он внимательно вглядывался в полное и простое лицо человека и в линию его рта, которая точно дышала ласково и грустно, и в его серые глаза.

Лугин вспомнил, как недавно рисовал голову старика. Между неизвестным и стариком, навещающим его по ночам,

не было никакого сходства.

Лугин бесшумно спрыгнул с кресел.

— Старик путает мои мысли... Это не старик, это кто-то другой...

Он подошел к окну и прижался лбом к ледяному стеклу. На дворе, в холодном тумане, ходил дворник, посыпая красным песком дорожку к воротам.

Внезапно Лугин с усмешкой отомкнул форточку в окне. Холодный пар ворвался в спальню. Из всех сил хотелось крикнуть Лугину, но он прикусил губу, чтобы унять волнение, и окликнул дворника тихо и вежливо:

— Эй, эй, послушай!

Дворник в долгополом, полинявшем кафтане поднял голову к окну.

— Зайди, братец, ко мне, на минутку, — позвал его Лугин.

Дворник угрюмо кивнул головой.

Совершенно бесшумно промчался Лугин по комнатам, расставляя кресла, подвигая на место стол, точно скрывая следы преступления, — всего необъяснимо страшного, — что творилось в полутемной квартире.

В прихожей у кухни, он осторожно повернул в замке ключ и отпер входную дверь. Он ждал дворника с затаенным дыханием. Его правая рука была в кармане, где лежала бритва.

На черной лестнице слышались шаги, потом брякнул звонок. Лугин бесшумно и быстро отпахнул дверь. Дворник отшатнулся с невнятным бормотанием:

— Эво, барин.

— Входи, братец, входи, — торопливо сказал Лугин, потирая руки. — Ты мне очень нужен. Пойдем-ка.

— Куда итти-то? — с угрюмой тревогой попятился дворник, прискаливши желтоватые зубы.

— Пойдем, пойдем.

И Лугин потащил его за холодный рукав кафтана. Бледное лицо Лугина пылало. Они бежали по комнатам, задевая кресла. Дворник неуклюже стучал валенками, подбитыми кожей.

В спальне Лугин повернул его лицом к портрету и пронзительно крикнул, сжимая в кармане черенок бритвы:

— Кто такой, кто на портрете?

Дворник посмотрел на портрет, потом со страхом на Лугина:

— Известно кто. Полковник из анжинеров. Я вам рассказывал.

— Полковник... Тот инженерный полковник, которого послали в Вятку...

— Вятку, не в Вятку, нам неизвестно. А только, как он переехал сюда, так и пропал... Тот самый и есть. Тут и вещи его остались и портрет.

— Вот что, — прошептал Лугин. — Хорошо. Тогда ты можешь идти.

Дворник повернулся и уже застучал валенками в соседней комнате.

Лугин остался один.

«Середа», заметил он внезапно красные, припавшие одна к другой буквы внизу портрета.

— Постой, — крикнул Лугин с раздражением. — Какой сегодня день?

— Известно, среда, — послышался голос дворника из кухни.

— Среда, среда...

Внезапное бешенство охватило Лугина. Он бросился за дворником, но в прихожей остановился, в ужасе прижал палец к губам. Дворник уже ушел. Лугин озираясь, бормотал. Измученно блистали его глаза.

— Выдал, выдал себя... Придут, схватят...

Он сел на ларь у дверей и заметил тогда, что у него в руке раскрытая бритва. Он сунул бритву в карман.

— Ну что ж, если я сумасшедший, тогда пусть придут... Все равно...

Он бормотал и плакал. Его бледное лицо было вдохновенно, прекрасно.

VII

«Не все ли равно, как погибнуть, — думал Лугин, бродя по комнатам. — К чему, в самом деле, сопротивляться приседающему старичку? Пусть он берет, что хочет, — его душу — только бы привел еще раз с собою сияющее видение».

Все движения Лугина стали покорными, нежными. Он открыл свою дорожную шкатулку. Там еще нашлось три елизаветинских червонца, один надпиленный. Лугин вспомнил, что серебряная мелочь есть и в секретере.

Он собирал все, что у него было, для последней ставки, для последней партии сегодняшней ночью.

Секретер красного дерева со скрипом откинулся на медных позеленевших шарнирах. «А ведь это секретер полковника», — подумал Лугин и начал торопливо отпирать пыльные ящики. В одном лежал заржавленный ключ с обломанной бородкой, в другом кусок сургуча, черный от копоти, и стопка пожелтевших изорванных листков. Лугин нашел еще там пару военных перчаток из пожелтевшей замши и миниатюру, обернутую в посекшийся шелк. Все это было похоже на маленькое кладбище.

На миниатюре был изображен тот же человек, что и на портрете, только в черном мундире военного инженера, с серебряным аксельбантом, какие носили лет десять назад, в 1830 году.

В ящике Лугин нашел и надорванную казенную подорожную в Вятку, на полковника Павла Горовецкого.

Лугин сидел у секретера, разглаживая грубую синюю бумагу подорожной. Он думал, что Горовецкий, как и он, проигрывал старику жизнь ради сияющего видения и, вероятно, погиб, как теперь погибнуть ему.

— Нет, нет, — вскрикнул Лугин.

Он набрал в горсть мелкого серебра, встал и пошел в прихожую.

С ужасной торопливостью обвязал он шею гарусным шарфом и накинул шубу.

VIII

Под воротами сумрачный дворник посмотрел на него в окно.

— Послушай, братец, — смущенно и хитро сказал Лугин. — Ты еще подумаешь, чего доброго, что барин-де спятил...

Лугин притворно рассмеялся:

— Я крикнул на тебя так, — ради шутки... На вот, возьми...

Дворник молча принял деньги и прикрыл окно.

От снега была светло-серебряной улица. Над лошаадьми и прохожими курился пар. Полосья со звоном раскатывались в блистающих, как бы отполированных колеях.

Прошло трое солдат в киверах, подернутых инеем, с заиневшими орлами. Им обдавало красные, веселые лица морозным дыханием.

Иногда падали легкие звездинки снега. От снега светлая улица блистала так, точно была уставлена огромно-звонкими зеркалами.

Запах снега и морозная бодрость освежили Лугина. Прохожие оглядывались на него с удивлением.

Молодой ванька, с таким же багряным, веселым лицом, как у солдат, с отмороженными синими пятаками в придачу на щеках, хлопал, согреваясь, сыромятными рукавицами, со всей силы оплетая себя вокруг тела руками.

— В инженерное управление, — сказал Лугин, застегивая у санок потертый бархатный шнур медвежьей полос-ти.

Побежали мимо решетки канала в снегу, барки с дровами и рыбный садок на канале, заваленные снегом, фонари, нагоняющие одна другую извозчиьи лошади. Лоб Лугина ломило от холода. Он провел рукой по заиневшим волосам: он забыл надеть шапку.

Торопливо обмотал Лугин голову гарусным шарфом.

— Вот, случай, — нарочно, с громким смехом, сказал он в управлении швейцару. — На Неве шапку ветром сорвало.

— День тихий, а бывает, ваше благородие, — ответил черноусый солдат с серебряной медалью на шее. — Дозвольте, вашу шубу приму.

В темной канцелярской приемной были еще просители. Приятно и тихо позванивали иногда шпоры.

Военный чиновник с изумленным бледным лицом выслушал Лугина, просил обождать и куда-то скрылся.

Выглянул еще чиновник, лысый, в узком мундире:

— Вы, сударь, наводите справку о полковнике Горовецком Павле?

— Да.

— Обождите, — сказал второй чиновник, тоже скрываясь.

Потом Лугина провели в другое отделение, где было светлее. Генерал в черном мундире с эмалевым белым крестом на шее, сухощавый старик с ввалившимися глазами, протянул Лугину через стол холодную руку.

— Прошу вас садиться, милостивый государь. Вы изволите быть родственником полковника Горовецкого?

— Так точно, ваше превосходительство, ближайшим. Три года я провел в Италии, а по приезде узнал, что Горовецкий исчез. Между тем, есть к нему надобности по вопросам владения, наследства...

Лугин смело повторил генералу все то, что вымыслил на извозчике.

— Я должен вас весьма огорчить, господин Лугин.

Только теперь услышал Лугин легкий немецкий акцент генерала.

— Ваш родственник, полковник Павел Горовецкий, хотя мертвые и не судимы, оказался недостойным офицером. По командировке в Вятку ему были выданы на руки некоторые казенные суммы. Он не отчитался в сих суммах, проиграл или, простите, пропил их... Тело вашего родственника было найдено на постоялом дворе под Петербургом: Горовецкий зарезался бритвой.

— Вот как. Бритвой, — повторил Лугин и рассмеялся внезапно.

Инженерный генерал с изумлением посмотрел на него.

— Бритвой, — повторял Лугин, отходя с поклонами, спиной, к дверям кабинета.

Он не заметил, как черноусый солдат накинул на него шубу.

— Пошел! — с бешенством крикнул он извозчику, прыгая в сани.

Так вот чем кончится его невероятная любовь, погоня за видением. Он желал, чтобы бесплотное совершенство стало совершенством во плоти, чтобы воплощенные видения заселили мир, вытеснили из него всю тьму и хаос, чтобы сверхъестественное стало естественным. Он желал сочетания земного с неземным светом. Для одного того он и жил.

Но он проиграет свою ставку, — жизнь, как тот полковник, как толпы его предшественников, которым суждено было когда-нибудь и где-нибудь на земле поселиться в номере 27, в доме Штосса по Столярному переулку.

У всех людей с недоделанной жизнью, с недосозданными образами оказываются всегда их недоволенные видения тем же оборотнем, темным ночным старичком, беспощадно уничтожающим все. Такие люди гибнут, как художники, не осилившие трудного темного материала, чтобы просквозить, осветить его, — чтобы преобразить его в сверхъестественную гармонию.

Он полоснет себя бритвой по шее, и все. Лугин содрогнулся от короткого сухого рыдания.

Извозчик с круглой седой бородой, в ледяшках, с бледно-голубыми моргающими, замерзшими глазами, обернулся к нему.

— Пошел, пошел, — сразу оправился Лугин.

— И-и, барин, все пошел, да пошел, а куда, так не скажешь.

— В Столярный переулок, — крикнул Лугин.

У ворот дома он отпустил извозчика.

«Дом Штосса, дом Штосса, — вспомнил он вдруг. — Чего же я мучаюсь, ведь это дом Штосса».

Штосс, Штосс, Штосс, стучало ему в виски, когда он миновал двор, когда вошел в свой подъезд. Квартира хозяина была площадкой выше, в третьем этаже.

«Штосс, Штосс, — думал Лугин, подымаясь туда. — Если Штосс тот самый старик, я его зарежу и все объяснится. Вот и бритва со мною».

Черный черенок, отогревшийся в кармане, Лугин положил в карман жилета. Он решительно дернул потертый бархатный шнур звонка. Звонок звякнул глухо. Лугин прислушался. Не подошел никто.

Тогда он посмотрел в замочную скважину: из тьмы в лицо повеяло холодом.

В это мгновение Лугин услышал за собой чье-то порывистое дыхание, обернулся. За ним стоял дворник, поднявшийся на площадку.

— А, это ты? — с притворным равнодушием сказал Лугин.

— Барин, а барин, чего ты тут ищешь?

— Что ты, братец? Или следишь за мной? Я желал повидать хозяина, господина Штосса.

— Да когда нет Штосса в квартере.

— Как нет?

— Хозяин в отъезде, я сказывал. И квартера им заперта.

— В отъезде... Странно.

Тут он заметил, что в руке у него раскрытая бритва, и смутился ужасно.

— Ну, что ты так смотришь? Не видишь, бритва... Я ему подарок принес... Вот, передай. Так и скажи, от господина Лугина подарок.

С этими словами он отстранил дворника и сбежал на нижнюю площадку. Он запер за собой дверь на два поворота ключа.

IX

Уже наступили ранние зимние сумерки. Лугин чувствовал такую усталость, что, не снимая шубы, засыпанной снегом, сел на ларь в прихожей.

Он ничего не решил, ничего не узнал и он погибнет, как погиб Горовецкий, как все те, кто попадался в эту квартиру. Он — арестант номер 27, он приговорен к смерти.

В сумерки запела во дворе поздняя шарманка. Она сипло играла какую-то итальянскую мелодию, как бы стертую и чем-то напоминающую очень поношенное и знакомо-уютное платье. На третьей-четвертой ноте шарманка оставилась, споткнулась и, выдохнувши жалобно, умолкла.

А Лугину все казалось, что в морозных потемках, на стуже, поет, едва призывавая, шарманка ту самую мелодию, которую он слышал в Италии, в безветренный, горячий день, когда солнце матово вспыхивает на гроздях лилово-черного винограда, в недвижной листве.

Этому маленькому полоуродцу, подкорченному на ларе, сумасшедшему художнику, этому человеку, жаждавшему, как и Сын Человеческий, сочетания земного со светом неземным, воплощения бесплотного, преобразования тьмы смертной в вечный свет воскресения, сиплая мелодия шарманки слышалась, как райская песня о том, чему не сбыться на земле никогда.

Все недоовощенное, чего он не умел воплотить, и все недосозданное им, обернулось и для него ночным противником, душегубом с кошачьими вздохами и тихим смешком.

В 1841 году, в ном. 27 неминуемо погибнет еще один побежденный сын человеческий.

Голова Лугина была такой ясной, точно он читал все эти слова в торжественной старинной книге.

Х

Уже в совершенной темноте, Лугин встал. Он сбросил шубу на ларь и зажег три свечи под кенкетом.

С тресвечником он прошел в спальню. Еще раз почувствовать огненную теплоту той, увидеть еще ее чудно-прекрасные черты, источник необъяснимого света, — и все рав-

но, как погибнуть, — только бы доле не существовать поодаль от нее.

Он поднял свечи и его взгляд случайно упал на портрет полковника. Серые глаза, как показалось ему, смотрели с грустной благодарностью. Красных букв «середа» внизу портрета не было. Они исчезли. У Лугина сжалось сердце.

— Мне виделись буквы, — сказал он, ставя кенкет на ломберный стол.

— Ну — что же, стало быть, я сошел с ума, вот и все...

Он сел к столу и взял лист бумаги. Он подумал, что следовало бы написать кому-нибудь о своем необычайном двойном существовании и о своих необъяснимых видениях. Но, что писать, когда он сумасшедший и никто его не поймет и никто ему не поверит?

Он отложил белый лист и стал пересчитывать свое серебро и червонцы. На три ставки достанет.

Все было тихо вокруг. Огни трех свечей, горевших ярко и спокойно, внезапно качнулись, легли: в покое повеяло холодом и Лугин услышал знакомый легкий скрип двери, ведущей в пустую гостиную.

За дверью пошуршали туфли; обе половинки стали тихо приотворяться, дверь сама отворилась настежь, и из соседней комнаты, где было темно, как в погребке, показался ночной игрок. Он слегка светился серым светом.

Его мутные глаза смотрели прямо, без цели. Холодом веяло от него. Он сел у стола против Лугина, вынул из-за пазухи две колоды карт, положил одну против себя, а другую против Лугина.

В эту минуту Лугин почувствовал легкое дыхание, огненное прикосновение. На мгновение он обернулся. Полупрозрачная, прекрасная, как утренняя звезда, она сияла вблизи него и проступала сквозь нее стена комнаты. Необъяснимая радость охватила Лугина.

Старик слегка вздохнул, обдал Лугина мертвым холодом.

— Не угодно ли, я промечу? — сказал он, срезая колоду.

— Мечите. Темная.

И Лугин положил на карту червонец. Они играли в совершенном молчании. Лугин чувствовал ее дыхание. Карта Лугина была убита. Старик протянул бледную, слегка дрожащую руку и взял золотой.

— Еще талью, — быстро сказал Лугин, зная, что проигрывает.

Старик молча поклонился и начал тасовать колоду.

— Позвольте, — внезапно сказал Лугин, прикрывая свою колоду рукой. — Что я хотел сказать... Да, позвольте... Сначала расскажите мне, как вы погубили Горовецкого.

Старик молча вздохнул, продолжая тасовать карты, которые скользили и шелестели в его руках. Он не спускал с Лугина магнетических недвижных глаз.

— Позвольте, — бормотал Лугин. — Все это игра... Это вымысел, вздор... Я понимаю, что вас нет. Отнюдь. Вас не существует вовсе. Я сошел с ума и выдумал вас. Вы мой вымысел, так же как и...

Он уже обернулся к той, чье дыхание касалось его виска, он готов был сказать «как нет и тебя», но различил яснее, чем раньше, ее бледно-сияющее лицо с восточными чертами, прядь волос, едва темнеющую под белым шарфом, окутывавшем ее как чаршаф, и содрогнулся от жалости и тоски. Он понял, что если скажет: «Тебя нет», она исчезнет навсегда.

— Вы изволили что-то сказать? — слышался глухой голос старика. — Может быть, я мешаю вам? Ради одного вашего развлечения я навещаю вас, но ежели вам сие досаждает, тогда извольте, мы уйдем.

Старик беспокойно пошевелился.

— Нет, — вскрикнул Лугин. — Нет, прошу вас, играйте.

И он подвинул червонцы, потемневшие от его рук.

— Извольте, — согласился старик, сдавая карты.

Тогда Лугин понял, что ни одной карты не будет ему дано, что он проиграет, старик все равно уведет от него сияющее видение, и погаснет все навсегда. Может быть, ночь, или две ночи, он будет еще ждать ее, а потом убьет себя от невыносимых страданий разлуки.

— Бита, — вежливо сказал старик. Лугин проигрывал свою жизнь.

— Талию!

Лугин придвинул последнюю ставку. Червонец покатился, упал на паркет с вонзающимся звоном.

За что он взялся, что он может сделать, бедный сумасшедший? Слезы выступили из-под припухших век Лугина. Его спутанные влажные волосы, его изможденное желтое лицо было освещено свечами. Он почувствовал дуновение на своем виске обернулся.

Точно с каждым его проигрышем, с каждым поражением она воплощалась сильнее. Ее немые уста умоляли. На ресницах сияла слеза.

Отдать за нее жизнь, — чего легче, — но если бы перевернуть все, не проиграть, а выиграть ее, победить.

Победить, пусть старик сама мировая тьма, — смерть, — победить и смерть, ради нее.

Седая голова старика, стриженная ежом, отблескивала железными, синими огнями. «Господи, как же мне победить его», — подумал Лугин и внезапно самые простые истории пришли ему на ум, рассказы о солдатах, игравших в карты с чертями.

Он представил себе того служивого, костлявого, с усищами, с недостающим передним зубом, бодро и смело игравшего в свои козыри с чертом. Лугину стало так весело, что он уже не страшился старика.

Он следил за рукой противника, кидающего карты. Оборотни, наваждения, силы тьмы властны над людьми, когда их страшатся. Победить свой страх, уже победа.

— Пойдите, — сказал Лугин, кладя горячую руку на холодную руку старика. — Пойдите, милостивый государь... А что, если я...

— Что вам угодно-с, — проворчал старик, силясь освободить руку.

— А что, если я вас... Вот я вас...

Лугин лукаво и счастливо рассмеялся:

— Я вас перекрещу...

Старик стал вывертывать руку и опрокинул тресвечник. Свечи покатались полу, мигая синими огнями.

Они схватились во тьме.

— Во имя Отца и Сына и свя... — крикнул Лугин.

Вдруг ворвался ветер, стужа кинулась в спальню, что-то загрохотало и точно пронесли над Лугиным смутные факелы.

Он открыл глаза. Над ним, со свечой в руке, стоял старый камердинер Никита.

XI

— Барин, родимый, что с вами приключилось, — заботливо бормотал камердинер, подавая Лугину воду.

— Где старик? — Лугин обвел глазами спальню. Кресла были опрокинуты. Ломберный стол завалился в угол. Карты, монеты, мелки разбросаны на полу. Погасший трехсвечник закатился под постель.

— Никакого старика нету, — говорил Никита, помогая Лугину встать. — Померещилось вам... Пойдем, барин, хороший, пойдем...

— О чем ты?

— А вот пойдем... В каморку мою... Как хотите, хоть в цепи куйте меня, а иначе я не мог.

Они вошли в каморку, на кухне. Никита поднял над койкой свечу, и Лугин увидел там чье-то вытянутое тело, прикрытое зимним сюртуком камердинера.

— Как принес, так и лежит, — сказал Никита.

Лугин взял от него свечу и склонился к койке.

Перед ним лежала молодая женщина, вернее, подросток. Ее голова покоилась на нечистой подушке, темные волосы, сбитые вбок, были похожи на подогнутое и мягкое птичье крыло.

Лугин узнал это бледно-сияющее лицо с восточными чертами, эти ресницы. Лихорадочный румянец горел на ее впалых щеках.

С восхищением и ужасом едва дотронулся он до ее холодной полудетской руки. На мизинце было помятое медное колечко с вдавлиной от потерянного камушка.

Она была в самом бедном ситцевом платье, закиданном снегом, и в потертой ветхой шубейке мещанки, с заячьей опушкой, облезшей во многих местах. На ее ногах были башмаки, явно чужие, неуклюжие, с обледенелыми ушками. Чулки, прорванные у колен, тоже были в снегу. Ее грудь, обмотанная куском нечистой кисеи с погасшими блестками, дышала ровно. Ее худое плечо и рука были в синяках.

Это было его божественное видение, утренняя звезда, она воплотилась. Едва он мог провести рукой вдоль ее полудетского худого тела.

Никита растопил камин, согрел простыни. Они перенесли ее в спальню. Лугин сидел с Никитой у постели, слушая ее дыхание.

— Как вы прогнали меня, — говорил Никита вполголоса, — я малость того: запил. От обиды. А только думал: «Барин без меня пропадет, надобно и домой». И вышел я из подливной, что у Кокушкина моста, а она и лежит, в самом снегу, шаль с нее сорвана. Видать, что избитая, то есть в беспамятстве. Собрался, конечно, народ. А она лежит, руки разметаны. Одни говорят: «Пьяная девка, гулящая, как душу ей выколотили». Смеются. А другие говорят: «Непорядок». А я смотрю на нее и у меня слеза бежит, как избита она. И какая она девка, когда вовсе ребенок. Потом один портной из немцев сказал: «Я ее знаю», — сказал, — «она в цирке, который тут стоял, сквозь обруч с коня прыгала. В обруче натянута бумага, она ее головой разрывала. Цирк ушел, а ее, стало быть, бросили». Тогда я сказал: «Я знаю, куда ее нести» и поднял на руки. Мне никто не препятствовал. Я и понес...

На рассвете она пришла в себя. Медленно, как бы вспоминая, обвела она глазами комнату и ее взгляд остановился на Лугине.

Он понял, что и она узнала его.

— Ваше имя, — тихо сказал Лугин, едва касаясь ее руки.

Она кротко улыбнулась, как-то жалко пошевелились губы. Она была глухонемой.

XII

Некоторые подробности этих необычайных событий могут быть найдены в петербургских журналах того времени. Действительно, в декабрьских выпусках 1841 года «Санкт-петербургских ведомостей», а также в «Северной пчеле», в обзоре столичных происшествий, раза два-три упоминается Столярный переулок и дом титулярного советника Штосса, упоминаемые и в неоконченных записках Лермонтова..

В одной из заметок подробно рассказано, например, о самоубийстве владельца недвижимости в Столярном переулке, господина Штосса. Дворник, принесший к нему дрова, нашел Штосса зарезавшимся бритвой на полу прихожей своей квартиры, куда вернулся Штосс из долговременной отлучки накануне ночью.

В другой заметке, озаглавленной «Двойная жизнь самоубийцы», рассказано О полицейском дознании, установившем, что отставной титулярный советник Штосс представлял собой фигуру весьма таинственную, даже странную. Он выезжал из столицы на целые месяцы, якобы за границу или на теплый воды. На самом же деле хорошо, по-видимому, изучивши таинственное учение о животном магнетизме — «столь модное нынче в Париже», добавляет заметка, — титулярный советник Штосс имел от того приватные заработки, показывая под вымышленными именами различные магнетические опыты в заезжих цирках. При опытах Штосса ему служила некая молодая девица, как рассказывают, венгерка по происхождению. Любопытнее всего, что молодая особа скрылась в ту самую ночь, когда Штосс зарезался.

ХІІІ

Лугин справлялся о глухонемой и в квартале, и в главной полиции.

В полиции сказали, что точно стоял в Петербурге один проезжий цирк, который ушел намеренно в Австрию. В том цирке Штосс и показывал свои магнетические опыты; там точно была канатная плясунья ила наездница из венгерок, по имени Габриель, исчезнувшая в ночь самоубийства. Но девицу Габриель, по квартальному дознанию, вытащили утопшей из полыньи на Неве. Ничего другого Лугин в квартале не узнал.

А между тем, в его кабинете, среди подрамников и холстов, пестрых шалей и гипсовых рук, среди хлама мастерской, светилось теперь неземным светом лицо его чудесной гостьи, и свет как бы двигался с нею, когда она проходила по его небогатым покоям.

Но чаще она лежала в углу его кабинета, на постели, которую он ей уступил, или сидела в потертых вольтеровских креслах, закутанная в английский плед. Она была больна.

В черном сюртуке, в шинели нараспашку, не замечая никого и ничего, как радостно одержимый, проносился иногда Лугин по улицам столицы с бедными подарками для своей гостьи. Однажды, в самую стужу, он принес ей два холодных, в инее, апельсина, в другой раз бедную, пожухшую от мороза гроздь винограда, завернутую в тонкую бумагу. Лугин стал точно бы сквозящим, он как бы просиял и нежно и прекрасно светилось теперь его некрасивое лицо.

В 1841 году в Столярном переулке свершилось чудо воплощения, неземное видение света стало земным существом, с худым полудетским телом, — неизвестной глухонемой девушкой, умирающей от чахотки. И если не было такого немислимого чуда, а одни только случайности столпились вокруг Лугина, все равно, он верил, что чудо свершилось.

Лугин понимал, без страдания и отчаяния, что его гостя умирает; теперь он знал, что уже никогда больше не потеряет найденной любви.

Все, что случилось с ним, было так необычайно, что он забыл свои знакомства и сам, забытый всеми, уединился от всего света в Столярном переулке с глухонемой и старым камердинером.

Она уже не покидала постели, и ее белые атласные туфельки, подарок Лугина, стояли нетронутыми, как бы неживыми, на коврике.

Однажды, в светлый зимний день, Лугин вернулся к себе и услышал из кабинета странное пение. Он вошел туда.

Глухонемая полусидела на постели и пела.

В ее песне, совершенно детской, невнятной, едва ли было две-три ноты, но лились они в такой божественно-светлой гармонии, что Лугин, остановившийся на пороге, подумал, что и у сил небесных, духов бесплотных, тот же чистейший и бедный напев.

Глухонемая увидела его и не перестала петь. Точно она желала ему рассказать что-то, чего он не понимал. Лугин наклонился к ней и она стала целовать ему руки.

Глухонемая не раз желала что-то сказать ему, и тогда ее сияющее лицо слегка-слегка и жалостно искажалось. Не мог понять Лугин этих легких, этих птичьих криков.

А № 27 по Столярному переулку, где умирала глухонемая девушка, может быть, цирковая наездница Габриель, бездомная венгерка, принесенная с улицы старым камердинером, осенился такой любовью, что дыхания и света ее, как думал Лугин, достанет еще на тысячи тысяч человеческих жизней и после него, на веки веков.

Примечания

Иван Созонтович Лукаш (1892-1940) – прозаик, поэт, драматург, критик, художник-иллюстратор. Родился в семье отставного ефрейтора Финляндского полка, участника русско-турецкой войны, работавшего швейцаром в петербургской Академии художеств. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Дебютировал как поэт-эгофутурист (сб. *Цветы ядовитые*, 1910). В период Гражданской войны воевал в Добровольческой армии, печатался в газ. *Юг России*, *Голос Таврии*. В эмиграции с 1920 г., жил в Турции, Болгарии, Чехии, с 1922 г. в Берлине. В конце 1925 г. переехал в Ригу и до весны 1927 г. был соредактором газеты *Слово*; в том же году перебрался в Париж, где стал сотрудником газ. *Возрождение*. Широко публиковался в эмигрантской периодике, выпустил ряд сборников рассказов и очерков, несколько исторических романов.

Лаконичная повесть И. С. Лукаша «Штосс» не привлекла в свое время никакого внимания присяжных лермонтоведов. В «Лермонтовской энциклопедии» (1981) о ней нет ни слова, возможно, по причине эмиграции и политических взглядов автора. Повесть осталась практически неизвестна и читателям (как, впрочем, и значительная часть наследия Лукаша, высоко ценимого в эмиграции и недооцененного на родине). Единственное зарегистрированное переиздание состоялось на страницах казахстанского журнала *Простор* (№ 6, 1989).

Повесть, увидевшая свет в декабре 1932 г. на страницах газеты *Возрождение*, была не первой попыткой Лукаша так или иначе продолжить классиков. За десять лет до этого, в берлинском сборнике рассказов «Черт на гаупвахте», он опубликовал рассказ «Карта Германна», своеобразное продолжение пушкинской «Пиковой дамы». Но, говоря о продолжениях, нужно и оговориться: Лукаш нигде не выступает прямым *продолжателем* и никогда не подхватывает на полуслове оборванный предшествующий текст. Его Германн – лишь призрак, пушкинский сюжет повторен в декорациях рубежа веков. С такой же свободой Лукаш действует и в «Штоссе»: местами цитирует, местами пересказывает лермонтовский отрывок, делает самого Лермонтова героем повествования и знакомцем героя, художника Лугина и, наконец, дает в своей повести не что иное, как анализ лермонтовского фрагмента – и од-

ного из основных мотивов русского романтизма в целом. Вынесенная в подзаголовок его «Штосса» *романтическая повесть* – не обозначение жанровой принадлежности, а указание на предмет анализа.

Проще всего, должно быть, увидеть в Лугине незадачливого игрока, запутавшегося в дьявольских сетях – и прочесть весь лермонтовский отрывок как историю рокового поединка романтического влюбленного одиночки с судьбой, как рассказ о *большой игре*. Такова, в конце концов, «Пиковая дама», откуда вышел и лермонтовский «Штосс». Таковы «Призраки» – опубликованное в 1897 г. продолжение «Штосса», написанное неким «князем Индостанским»^{*}.

Лукаш видит в Лугине – автопортрет Лермонтова: от физического, телесного сходства, фатальной некрасивости, недоверия к женщине и неверия в возможность стать объектом любви до единого для обоих «неясного, темного и тяжелого чувства» обделенности и «обиженности естеством». Он решительно отменяет представление о Лугине-игроке – автопортрет Лермонтова может быть только изображением устремленного к идеалу *художника*. Кажущийся на поверхностный взгляд необязательным лермонтовский фон – Италия, маленькие картины, наброски женской головки – выходит на передний план.

Так же решительно Лукаш расправляется с дьявольщиной. Его старичок-картежник – отнюдь не мелкий бес или демон, а чарующая Габриель, наделенная именем архангела – не призрак, морок «князя Индостанского». Штосс у Лукаша – воплощение тенет, тварной косности самой материи; фигура Габриель – олицетворение традиционной для русского романтизма «падшей Софии». Ее освобождение из плена становится делом жизни Лугина; путь к нему, по Лукашу, лежит через религиозное прозрение.

Лукаш вряд ли прошел мимо созвучия *Лугин-Лукаш*, тем более усиленного «Защитой *Лужина*» (1929-30) его друга и соавтора В. В. Набокова. С другой стороны, прозрачность, просквоженность Лугина из повести Лукаша сказала, как нам кажется, в Цинциннате Ц. из набоковского «Приглашения на казнь» (1935-1936).

А. III.

^{*} См.: *Лермонтов М., князь Индостанский*. Призраки: Повесть с продолжением. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017.

«Штосс» М. Ю. Лермонтова публикуется по изд.: Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений в пяти томах. Том V: Проза и письма (М.-Л.: Academia, 1937).

«Штосс» И. С. Лукаша был впервые напечатан в №№ 2744 (6 декабря), 2748 (10 декабря), 2752 (14 декабря), 2756 (18 декабря), 2758 (20 декабря) и 2761 (23 декабря) газеты «Возрождение» за 1932 г. Публикуется по этому изданию с исправлением очевидных опечаток; орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

На фронтисписе – иллюстрация к «Штоссу» В. Бехтеева. В оформлении обложки использована иллюстрация А. Бенуа к «Пиковой даме» А. Пушкина.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.